



Часть первая

Gla mi fur dolci inviti
a empir le carte
I luoghi ameni.

Ariosto, Sat. IV

Глава 1

Милан в 1796 году

15 мая 1796 года генерал Бонапарт вступил в Милан во главе молодой армии, которая прошла мост у Лоди*, показав всему миру, что спустя много столетий у Цезаря и Александра появился преемник. Чудеса отваги и гениальности, которым Италия стала свидетельницей, в несколько месяцев пробудили от сна весь ее народ: еще за неделю до вступления французской армии жители Милана видели в ней лишь орду разбойников, привыкших убежать от войск его императорского и королевского величества, — так по крайней мере внушала им трижды в неделю миланская газетка, выходявшая на листке дрянной желтой бумаги величиною с ладонь.

В Средние века республиканцы Ломбардии* были не менее храбры, нежели французы, и за это императоры Германии обратили их столицу в развалины. Став верноподданными*, они считают самым важным для себя делом печатать на платочках из розовой тафты сонеты по случаю бракосочетания какой-нибудь высокородной или богатой



девицы. Через два-три года после этого великого события в своей жизни молодая супруга брала себе поклонника, — иногда имя чичисбея, заранее избранного семьей жениха, занимало почетное место в брачном контракте. Как далеки были от столь изнеженных нравов глубокие волнения, вызванные неожиданным нашествием французской армии! Вскоре возникли новые нравы, исполненные страсти. 15 мая 1796 года весь народ увидел, каким нелепым, а иногда и гнусным было все то, к чему он прежде относился с почтением. Едва только последний австрийский полк оставил Ломбардию, как старые взгляды рухнули, вошло в моду подвергать свою жизнь опасности. После многих веков расслабляющих чувствований люди увидели, что счастья возможно достигнуть лишь ценою подлинной любви к родине и доблестных подвигов. Долгий и ревнивый деспотизм, наследие Карла V и Филиппа II, погрузил ломбардцев в глубокий мрак, но они свергли статуи этих монархов, и сразу же всех затопили волны света. Пятьдесят лет, пока «Энциклопедия»* и Вольтер взрывали старую Францию, монахи кричали доброму миланскому народу, что учиться грамоте, да и вообще чему бы то ни было, — совершенно напрасный труд, ибо стоит лишь исправно платить священнику десятину*, без утайки рассказывать ему на духу свои мелкие грешки, и можно быть почти уверенным, что получишь хорошее место в раю. А чтобы довести до полного бессилия этот народ, некогда умевший и мыслить и быть грозой, Австрия по дешевой цене продала ему привилегию не поставлять рекрутов в ее армию.



В 1796 году вся миланская армия состояла из двадцати четырех шалопаев в красных мундирах, и они охраняли город совместно с четырьмя великолепными полками венгерских гренадеров. Распущенность достигла крайних пределов, но страсти были явлением редкостным. Помехой тому была неприятная обязанность все рассказывать духовнику под страхом погибели даже в здешнем мире. Кроме того, славный ломбардский народ был связан некоторыми запретами монархии — мелкими, но довольно докучными. Так, например, эрцгерцогу, который имел резиденцию в Милане и правил страной от имени австрийского императора, своего двоюродного брата, вздумалось заняться прибыльным делом — торговать хлебом. Следствием этого явилось запрещение крестьянам продавать зерно до тех пор, пока его высочество не наполнит своих амбаров.

В мае 1796 года, через три дня после вступления французов, в большую миланскую кофейню Серви, модную в те времена, зашел прибывший вместе с армией молодой рисовальщик-миниатюрист и порядочный ветрогон, по фамилии Гро*, впоследствии знаменитый художник; он услышал в кофейне рассказы о торговых подвигах эрцгерцога и узнал также, что тот отличается тучностью. И вот художник взял со стола листок скверной желтой бумаги, на которой напечатан был перечень различных сортов мороженого, и на обороте его изобразил, как французский солдат проткнул штыком толстое чрево эрцгерцога и оттуда вместо крови потоком хлынула пшеница. То, что называется «шаржем» или «карикатурой», было со-



всем незнакомо в этой стране хитрого деспотизма. Рисунок, оставленный художником Гро на столике в кофейне Серви, показался чудом, сошедшим с неба; за ночь сделали с него гравюру и на другой день распродали двадцать тысяч оттисков.

В тот же день на стенах домов появились афиши, уведомлявшие о взыскании шестимиллионной контрибуции на нужды французской армии, которая только что выиграла шесть сражений, завоевала двадцать провинций, но испытывала недостаток в башмаках, панталонах, мундирах и шапках.

Вместе с оборванными бедняками французами в Ломбардию вторгнулась такая могучая волна счастья и радости, что только священники да кое-кто из дворян стонали от тяжести шестимиллионной контрибуции, за которой последовали и другие денежные взыскания. Ведь эти французские солдаты с утра и до вечера смеялись и пели, все были моложе двадцати пяти лет, а их главнокомандующему недавно исполнилось двадцать семь, и он считался старейшиной армии. Жизнерадостность, молодость, беззаботность были таким приятным ответом на злобные предсказания монахов, которые уже полгода возвещали с высоты церковных кафедр, что все французы — изверги, что под страхом смертной казни их солдаты обязаны все жечь, всем рубить головы, — недаром впереди каждого их полка везут гильотину. А в деревнях люди видели, как у дверей крестьянских хижин французские солдаты баюкали на руках хозяйских ребятишек, и почти каждый вечер какой-нибудь барабанщик, умевший пикивать на скрипке, устраи-



вал бал. Модные контрдансы были для солдат слишком мудрены, и показать итальянкам их замысловатые фигуры они не могли, да, кстати сказать, и сами не были им обучены, зато итальянки научили молодых французов плясать «монферину», «попрыгунью» и другие народные танцы.

Офицеров по мере возможности расквартировали по богатым домам; им очень нужно было подкрепить свои силы. И вот один лейтенант, по фамилии Робер, получил билет на постой во дворце маркизы дель Донго. Когда этот офицер, молодой ополченец и человек довольно бойкий, вошел во дворец, в кармане у него было всего-навсего одно экю в шесть франков, только что выданное ему казначеем в Пьяченце. После сражения у Лоди он снял с красавца австрийского офицера, убитого пушечным ядром, великолепные новенькие нанковые панталоны, и, право, никогда еще так кстати не приходилась человеку эта часть одежды. Бахрома офицерских эполет была у него из шерсти, а сукно на рукавах мундира пришлось притачать к подкладке, для того чтобы оно не расползлось ключьями. Но упомянем еще более приискорбное обстоятельство: подметки его башмаков были выкроены из треуголки, также взятой на поле сражения у Лоди. Эти самодельные подметки были весьма заметно привязаны к башмакам веревочками, и, когда дворецкий, явившись в комнату лейтенанта Робера, пригласил его откушать с маркизой дель Донго, бедняга почувствовал убийственное смущение. Вместе со своим вольтижером он провел два часа, оставшиеся до рокового обеда, за работой, усердно стараясь хоть немного починить мундир



и закрасить чернилами злосчастные веревочки на башмаках. Наконец грозная минута настала.

«Еще никогда в жизни не был я так смущен, — говорил мне лейтенант Робер. — Дамы думали, что я их напугаю, а я трепетал больше, чем они. Я смотрел на свои башмаки и не знал, как мне грациозно подойти в них к хозяйке дома. Маркиза дель Донго, — добавил он, — была тогда во всем блеске своей красоты. Вы ее видели, вы помните, конечно, ее прекрасные глаза, ангельски-кроткий взгляд и чудесные темно-русые волосы, так красиво обрамлявшие прелестный овал ее лица. В моей комнате висела картина «Иродиада» Леонардо да Винчи*, — казалось, это был ее портрет. И вот меня, по счастью, так поразила эта сверхъестественная красота, что я позабыл про свой наряд. Целых два года я пробыл в горах около Генуи, привык к зрелищу убожества и уродства и теперь, не сдержав своего восторга, дерзнул высказать его.

Но у меня хватило здравого смысла не затягивать комплиментов. Рассыпаясь в любезностях, я видел вокруг себя мраморные стены столовой и целую дюжину лакеев и камердинеров, одетых, как мне тогда показалось, с величайшей роскошью. Вообразите только: эти бездельники были обуты в хорошие башмаки да еще с серебряными пряжками. Я заметил, как эти люди глупо тарашат глаза, разглядывая мой мундир, а может, и мои башмаки, что уже окончательно убивало меня. Я мог своим словом нагнать страху на всю эту челядь, но как ее одернуть, не рискуя в то же время испугать дам? Маркиза, надо вам сказать, в тот день «для храбрости», как она сто раз мне потом объ-



ясняла, взяла домой из монастырского пансиона сестру своего мужа, Джину дель Донго, — впоследствии она стала прекрасной графиней Пьетранера, которую в дни благоденствия никто не мог превзойти веселостью и приветливостью, так же как никто не превзошел ее мужеством и спокойной стойкостью в дни превратностей.

Джине было тогда лет тринадцать, а на вид — восемнадцать; она отличалась, как вы знаете, живостью и чистосердечием, и тут, за столом, видя мой костюм, она так боялась расхохотаться, что не решалась есть; маркиза, напротив, дарила меня натянутыми любезностями: она прекрасно видела в моих глазах нетерпеливую досаду. Словом, я представлял собою нелепую фигуру; я должен был сносить презрение — дело для француза невозможное. И вдруг меня осенила мысль, ниспосланная, конечно, небом: я стал рассказывать дамам о своей бедности, о том, сколько мы пострадали за два года в гемуэзских горах, где нас держали старые дураки-генералы. Там давали нам, говорил я, три унции* хлеба в день и жалованье платили ассигнациями, которые не имели хождения в тех краях. Не прошло и двух минут, как я заговорил об этом, а у доброй маркизы уже слезы заблестели на глазах, и Джина тоже стала серьезной.

— Как, господин лейтенант? — переспросила она. — Три унции хлеба?

— Да, мадемуазель. А раза три в неделю нам ничего не перепало, и, так как крестьяне, у которых мы были расквартированы, бедствовали еще больше нас, мы делились с ними хлебом.



Выйдя из-за стола, я предложил маркизе руку, проводил ее до дверей гостиной, затем поспешно вернулся и дал лакею, прислуживавшему мне за столом, единственное свое шестифранковое эю, сразу разрушив воздушные замки, которые я строил, мечтая об употреблении этих денег.

— Неделю спустя, — продолжал свой рассказ лейтенант Робер, — когда совершенно ясно стало, что французы никого не собираются гильотинировать, маркиз дель Донго возвратился с берегов Комо из своего замка Грианта, где он так храбро укрылся при приближении нашей армии, бросив на волю случайностей войны красавицу жену и сестру. Ненависть маркиза к нам была равносильна его страху — то есть безмерна, и мне смешно было смотреть на пухлую и бледную физиономию этого ханжи, когда он лебезил передо мною. На другой день после его возвращения в Милан мне выдали три локтя* сукна и двести франков из шестимиллионной контрибуции; я вновь оперился и стал кавалером моих хозяек, так как начались балы».

История лейтенанта Робера походит на историю всех французов в Милане: вместо того чтобы посмеяться над нищетой этих удальцов, к ним почувствовали жалость и полюбили их.

Пора нежданного счастья и опьянения длилась два коротких года; безумства доходили до крайних пределов, захватили всех поголовно, и объяснить их можно лишь с помощью следующего исторического и глубокого рассуждения: этот народ скучал целое столетие.

Некогда при дворе Висконти и Сфорца*, знаменитых герцогов миланских, царило сладострастие, свойственное



южным странам. Но начиная с 1624 года, когда Миланом завладели испанцы, молчаливые, надменные и подозрительные повелители, всегда опасавшиеся восстания, веселость исчезла. Переняв обычаи своих владык, люди больше стремились отомстить ударом кинжала за малейшую обиду, чем наслаждаться каждой минутой жизни.

С 15 мая 1796 года, когда французы вступили в Милан, и до апреля 1799 года, когда их оттуда изгнали после сражения при Кассано*, повсюду господствовало счастливое безумство, веселье, сладострастье, забвенье всех унылых правил или хотя бы просто благоразумия, и даже старые купцы-миллионеры, старые ростовщики, старики нотариусы позабыли свою обычную угрюмость и погоню за наживой.

Лишь несколько семейств, принадлежавших к высшим кругам дворянства, словно досадуя на всеобщую радость и расцвет всех сердец, уехали в свои поместья. Правда, эти знатные и богатые семьи были невыгодным для них образом выделены при раскладке военной контрибуции для французской армии.

Маркиз дель Донго, раздраженный картиной ликования, одним из первых удалился в свой великолепный замок Грианта, находившийся неподалеку от города Комо; дамы привезли туда однажды и лейтенанта Робера. Замок представлял собою крепость, и местоположение его, пожалуй, не имеет себе равного в мире, ибо он стоит на высоком плато, поднимающемся на сто пятьдесят футов над чудесным озером, и из окон его видна большая часть озера. Это был родовой замок маркизов дель Донго, построенный ими еще в пятнадцатом столетии, как о том



свидетельствовали мраморные щиты с фамильным гербом; от тех времен, когда он служил крепостью, в нем сохранились подъемные мосты и глубокие рвы, правда уже лишившиеся воды; все же под защитой его стен высотой в восемьдесят футов и толщиной в шесть футов можно было не бояться внезапного нападения, и поэтому подозрительный маркиз дорожил им. Окружив себя двадцатью пятью — тридцатью лакеями, которых он считал преданными слугами, вероятно, за то, что всегда осыпал их руганью, он тут меньше терзался страхом, чем в Милане.

Страх этот не лишен был оснований: маркиз вел весьма оживленную переписку со шпионом, которого Австрия держала на швейцарской границе, в трех лье от Грианты, для того чтобы он способствовал бегству военнопленных, взятых французами в сражениях, и это обстоятельство могло очень не понравиться французским генералам.

Свою молодую жену маркиз оставил в Милане. Она управляла там семейными делами, обязана была договариваться относительно сумм контрибуций, которыми облагали casa del Dongo, как говорят в Италии, — стараться уменьшить их, что заставляло ее встречаться с некоторыми дворянами, принявшими на себя выполнение общественных должностей, а также и с лицами незнатными, но весьма влиятельными. В семействе дель Донго произошло большое событие: маркиз подыскал жениха для своей юной сестры Джины, человека очень богатого и высокогородного; но этот вельможа пудрил волосы, и поэтому Джина всегда встречала его взрывом хохота, а вскоре она совершила безумный поступок — вышла замуж за графа



Пьетранера. Правда, он был человек достойный и весьма красивый, но из обедневшего дворянского рода и, в довершение несчастья, ярый сторонник новых идей. Пьетранера был суб-лейтенантом Итальянского легиона*, что усугубляло негодование маркиза.

Прошли два года, полных безумного веселья и счастья; парижская Директория*, разыгрывая роль прочно утвердившейся власти, стала выказывать смертельную ненависть ко всем, кто не был посредственностью. Бесталанные генералы, которыми она наградила Итальянскую армию, проигрывали битву за битвой в тех самых Веронских долинах, которые за два года до того были свидетельницами чудес, совершенных при Арколе и Лонато*. Австрийцы подошли к Милану; лейтенант Робер, уже получивший командование батальоном и раненный в сражении при Кассано, в последний раз оказался гостем своей подруги, маркизы дель Донго. Прощание было горестным. Вместе с Робером уехал и граф Пьетранера, который последовал за французскими войсками, отступавшими к Нови*. Молодой графине Пьетранера брат отказался выплатить законную часть родительского наследства, и она ехала за армией в простой тележке.

Настала та пора реакции и возвращения к старым взглядам, которую жители Милана называют «i tredici mesi» (тринадцать месяцев), потому что, на их счастье, это вернувшееся мракобесие действительно продлилось только тринадцать месяцев — до сражения при Маренго*. Все старики, все угрюмые ханжи подняли головы, захватили бразды правления и верховодили обществом; вскоре эти благонамеренные люди, оставшиеся верными старому ре-